

В ЕГО кабинете огромные окна. Письменный стол — посредине, словно пригоровился к полету, да только бумажно-книжно-блокнотный развал притормаживает путешествие. Хозяин дружелюбен, открыт, без всяких следов чванства. Здесь не чувствуешь салонной фальши небожителя. Все необходимое — и ничего больше. Стены до потолка в работах самого Вознесенского и его знаменитых друзей — Ренато Гуттузо, Ладо Гудиашили, Михаила Шемякина... И огромная фотография с фрески — прапрапрадеда поэта, священнослужителя.

— Андрей Андреевич, Переделкино — отгороженный от мира островок. Но, наверно, телезвонки впустили в ваш дом густую, с кровавыми флагами толпу на Манежной. Заправляли митингом голодных не самые голодные. Какие предчувствия вызывает у вас все это?

— Я скажу: есть народ, а есть толпа. Почти в то же время был день рождения Пастернака. Без всяких объявлений, без специальных приглашений набился полный дом народа. Борис Березовский божественно играл Шопена, Метнера, Листа. Здесь была та русская культура, та некрикливая духовность, с которой я связываю спасение России.

В «Живаго» есть одна из великих мыслей Пастернака — не надо бороться и переустраивать жизнь, а надо просто жить. Эта осень принесла нам столько тревог, что большего и ожидать страшно. Страна развалилась. Действуют только центробежные силы.

— Кто из современных лидеров вам симпатичнее? С кем было бы надежнее?

— Я как-то не очень знаю людей в коридорах власти. Карякин — власть? Старовойтова? Это все достойные люди. Я знаю людей не по чинам. Я знаю Женю Сидорова как тонкого критика. Думаю, став министром, он не превратился в Евгения Юрьевича? Верю в Святослава Федорова. С ним я связывал бы надежды России. В нем есть прагматизм, есть уверенность. Он не болтает — он делает. Мы уж слышались и мракобесия, и светлоресия. Нужда в людях дела. Надо по-мужски Россию спасать, а не плакаться. Пацаны, зарабатывающие свои первые деньги мытьем машин, мне симпатичны — у них хорошие лица.

— Мережковский, которого у нас наконец-то сообразовали напечатать, в «Грядущем хаме» еще в 14-м году высказал пророческую мысль: «Одного бойтесь — рабства и худшего из рабств — мещанства, и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт, не старый, фантастический, а новый, реальный черт...» Какое обличье может принимать наш вполне сформировавшийся хам?

— «Грядущий хам» — звучит немножко возвышенно, даже громогласно. Нам ближе не великие прогнозы Мережковского — ближе Шариков. Булгаков увидел не грядущего хам, а того, который пришел. Однажды я приехал в зал «Октябрь» читать свою поэму «Ров», посвященную геноциду: в Крыму сегодняшние мародеры разрывали захоронения убитых фашистами 12 тысяч евреев и разбивали черепа, забирали золотые зубы...

На вечеру я получил много записок. В самой первой, извините, было написано: «Андрей, пососи х... дохлого раввина». Имелся в виду раввин, расстрелянный нацистами. Через некоторое время пришла еще одна записка, уже с рисунком — могучий мужской предмет разрывает звезду Давида. И тоже какая-то надпись. В меня велился какой-то дух антитолпы, и я с каким-то особым подъемом читал. Зал скандировал, а эти молчаливые ряды были мне видны. И я сказал: «Друзья мои. У нас демократия на сцене, а у вас демократия нет. Вы не подписываете записок». Они стали орать, чтобы сорвать вечер. Не знаю, были ли они из «Памяти» или откуда еще, но директор кинотеатра мне потом говорила, что они закупили сразу двести билетов. Я показал залу этот «прекрасный» рисунок. «Ну, кто автор? Если вы смелый, пожалуйста, покажитесь, встаньте», — сказал я. Установилась тишина. Проектора в лицо — и темный зал. Напряжение жуткое. Так никто и не под-

нялся. Помню, как, взведенный до предела, я закричал: «Труссы! Труссы! Труссы!» — шквал аплодисментов. В зале все-таки две тысячи человек. Немного спустя поднялась на сцену женщина и сказала: «Андрей, чтобы вы не считали нас трусами, мы даем вам свой манифест» — и протянула нац. брошюру. А я-то думал, что это она нарисовала рисунок. Этим людям воспитал не храм, а стены советского туалета.

— Вам повезло на хамство в государственном масштабе. Вас, молодого и свернувшего поэта, своим оскорблением прославил на всю страну Никита Сергеевич. У вас появилось много поклонников и по этой причине. А когда в Политтехническом вы надрывали глотку, чтобы дойти до каждого, многие интеллигенты с раздражением называли вас «эстрадником», отказывали в праве именоваться поэтом. Как себя чувствовала тревожная груша вашей поэзии при таком разбросе мнений?

— К разбросу мнений я прибавил бы еще кое-что. Что касается Хрущева — я

режковский, агрессивно. Спасаетесь пушкинской строкой — «Ты царь. Живи один».

— **МЫ ЖИВЕМ** в атмосфере полного опустошения. Фильмы последних лет сделаны в жанре распада. И вы написали «Рассодию распада» — «в каждом нарастала всеобщая мелодия распада». Не все примут ваши обвинения. Есть еще и преданность, и любовь, и еще что-то такое, без чего все рассыплется. Когда-то я приехала в опустевший дом Пастернака, чтобы написать статью о необходимости создания музея. Захотелось походить по его комнатам вместе с вами. Я потопталась у вашего закрытого дома. Никого. Вгляделась — то же запустение в саду.

— Я вам скажу — этот мой дом арендованный, лиффондский. Здесь давно жил Федин, потом его семья. Я в нем всего несколько месяцев. С весны намерены заняться всем. Я заказал подвизник Бирюков, в Перми есть «Пермский треугольник». Розы я не рискну заводить — тогда

Тут я вспомнил про свой титул, надел на голову табуретку и пошел ножками по потолку. Ку-ку!

И все-таки почему вы так часто бываете в Барнауле и других городах нашей глубинки?

— Вы точно заметили, что авангард и традиции не в противоречии. Авангард существует целый век. Он уже традиция, как любое направление, как ренессанс. Вряд ли наш век создал что-то именно свое в искусстве, кроме авангарда. Плохой ли наш век, хороший ли, его стиль — авангард.

Настоящие поэтические силы не только в Москве. Хлебников был с Волги. Я очень люблю московский клуб поэзии — Искренко, Арапова, Иртеньева. Они интересны. Но я знаю других талантливых поэтов. В Тамбове, например, есть «Академия поэзии», ее создал подвизник Бирюков, в Перми есть «Пермский треугольник». Удивительные люди. Свою литера-

— Вы оптимист. И в то же время настоящий нафганец — по потолку ходить умеете. На ваших рисунках, посвященных Прокофьеву, линейки нотного стана расходятся, меня направление, как в катастрофе, а ноты срываются со своих орбит и кофейными зернами стекают в советскую кофемолку с красным флагом; припоминаю еще один ваш сюр: деньги после своего концерта складываете в баул и везете тому, кому решили помочь. Почему игнорируете всякие фонды?

— Любый фонд — это абстрактная дыра. Люблю конкретное. Даю в больницу и стараюсь не говорить об этом... Как быстро все меняется. Я изобразил в видеоме трагедию Прокофьева, нарисовал кремлевский купол с красным флагом — получилась кофемолка...

— Перемалывающая гения...

— Теперь нету красного флага над Кремлем. На наших глазах делается история. Поразили. Сейчас я бы не нарисовал этот флаг. Смешно топтаться, когда все этим занимается. Я скажу строчки, которые наполовину были написаны:

Все пашут — я перстаю о Сталине, Высоцком, о Байкале, Гребенчикове и Шагале.

— **АНДРЕЙ** Андреевич, у вас глаза рязанских васильков. Откуда родом ваши предки?

— Родился в Москве. А в детстве жил у бабушки под Владимиром. Владимирский собор и собор на Нерли я видел раньше, чем все остальное. Мой прапрадед был архимандритом в Муроме. Его вятская фамилия — Андрей Полисадов. Я нашел его могилу. Отец мой и мать не говорили мне до смерти Сталина, что был мой предок. — боялся, что я протрелюсь в школе и у отца будут неприятности на работе. Имя Вознесенский, как и Успенский, означает, что человек окончил духовную семинарию. Есть градация учеников. Первые ученики получают одну фамилию; Вознесенский — вторая градация...

Может быть, поэтому меня с первых стихов тянуло писать о Покрове на Нерли, Василии Блаженном, влекли темы Нового Завета, православный словарь, за который меня попрекали, литургические ритмы — все это само проступало сквозь нашу призрачно научно-техническую феню, все это помимо моей воли, все время хотело разобораться с Богом, понять его в себе, это в генах, наверно. Видно, прадед виноват. Извините, конечно.

— Какими подаренными вещами вы больше всего дорожите?

— Вы обратили внимание на коллаж из засохших цветов. Он сделан гениальным кинорежиссером и художником Параджановым. Судьба его была тяжелейшая. Он провел годы в тюрьме. Я послал ему туда книжку стихов, и в ответ он прислал мне этот коллаж, где живые листья и из проволоки сетки цветок, в тюрьме из ничего он создал эту красоту. Он был очень современным человеком и мечтал поставить «Кармен». Первый кадр он видел так: огромный широкий экран, крупным планом лежит голая Кармен. Камера отходит, к ней приближается Хозе и... чихает. «Почему?» — спрашиваю его. «А Кармен работала на табачной фабрике. Гениальное мышление и юмор.

— Расскажите, как вы впервые делали свои литографии в Америке?

— Я делал их в ателье, где работал и Раушенберг. Я первый раз печатал на камне. Работалось трудно. Вдруг вижу в углу мастерской встал какой-то человек, попиывает виски и молчит. Мне бы спросить у него — но у советских собственная гордость. Я продолжал потеть. И знаете — получилось. А он смотрел на мои мучения и решил, что это новый метод русских. Мы подружались с Раушенбергом. Я рад, что у нас бывала его потрясающая выставка.

— Какие мысли навевают вам ваш камин, когда дрова пылают?

— Камин — это русская культура. Этот в своем первоначальном виде мне не понравился — было в нем что-то от того самого мещанства. Я его раскрасил, сделал из букв. Что такое камин? Гоголь сжег в камине «Мертвые души». Самая лучшая сцена в «Идиоте» Достоевского — в камине жгут деньги. Припоминаю Баркова — учителя Пушкина, которого у нас считают порнографом. Но в сравнении с тем, что происходит сейчас, это идиллическая, целомудренная порнография. По легенде, он умер в камине у себя в усадьбе: когда утром пришли к барину лакеи, они увидели — из каминной трубы торчит голая попка. Барков покончил с собой, уткнувшись головой в камин, а в попку воткнул свое последнее произведение: «Жил грешно и умер смешно».

— Потрясающе.

— Да, это черный юмор. У нас никто не понимает, что Барков — учитель Пушкина. А Пушкин — это Державин плюс французская культура и Барков. «Евгений Онегин» по естественной интонации идет от Баркова: Тредиаковский и Державин явили более высокий стиль. Барков принес стихию разговорной речи. Поэт ценен не тем, о чем он пишет, а языком. А язык Баркова через Пушкина стал литературной нормой.

Вот что для меня камин. Думается перед ним хорошо. Я написал на нем:

Камин мой,
в людскую стужу
тебя оживил я не с жиру —
сожги мою мертвую душу,
зажги
мою душу жиру.

Наталья ДАРДЫКИНА.
Фото Анастасия БЕЛЯСОВА.

НОЖКАМИ ПО ПОТОЛКУ

Моск. Комсомолец — 1992. 22 февр.

тогда к нему хорошо относился. Человеку из кровавой стаи трудно было решиться на отчаянный поступок — открыть политические лагеря.

Кремлевский скандал — это обычное противостояние царя и поэта. Дело было не во мне — просто Хрущев хотел проучить интеллигенцию, затоптать ее. Когда Никита Сергеевич был уже в отставке, мне передали, что он жалеет о случившемся — просто его неправильно информировали.

— Как вы относитесь к наградам?

— Даже Ленинские премии получали достойнейшие люди — Рихтер и Ростропович. И Солженицын не протестовал, когда его выдвигали... У меня тоже есть разные премии и выборы в разные академии. Я к этому спокойно отношусь. Первой «государственной премией» за первую мою книгу «Мозаика» было постановление Бюро ЦК по РСФСР — «признать книгу политически вредной и конфисковать». Выше этой первой премии не знаю.

— На что вы потратили свою Госпремию за «Витражного мастера»?

— Я открыл двери дома и угощал всех, кто пришел поздравить — Таганку, Ахмадулину, Аксенова, Ефремова, Ерофеева, Попова, всех друзей, читателей, соседей. Как пел Градский Суммы хватило на два дня. Пришлось добавлять. Поэта нельзя ни наградить, ни уничтожить. Единственное наказание для поэта, если он потеряет голос, если он потеряет связь с космосом. И это будет знаком свыше, что он себя неправильно ведет. Пока чувствуешь эту связь, словно кто-то диктует тебе, значит, ты правильно живешь, кто-то там, высоко, тобой доволен.

— Приходилось слышать: «Какой Вознесенский авангардист? Он настоящий традиционалист». Правда, одно другому, как известно, не мешает. С удовольствием вспоминаю ваши строки, по форме вовсе не авангардные:

Под темной молчаливою державою
какое одиночество парит!
Завидую тебе, орел двуглавый,
ты можешь сам с собою говорить.
Бывает ли у вас беспрепятственное одиночество или в вечной суете случаются только просветы одиночества?

— Главное одиночество наступает в суете. В толпе, в разное ты одинок — нарушается связь с космосом. Творческое одиночество — на самом деле не одиночество: ты чувствуешь, кто-то там, высоко, заинтересован в тебе, идет какое-то замыкание этой странной электрической цепи. Конечно, одиночество — это непонимание. Да и вряд ли поэтов понимают. Когда в «Метрополе» были напечатаны эти строчки об орле двуглавым, меня стали обвинять в монархизме. Непонимание толпы, того хама, о котором говорил Ме-

Поэт
Андрей
ВОЗНЕ-
СЕНСКИЙ:
«Нарастала
всеобщая
мелодия
распада»

потребуется помощь садовника. Все-таки надо быть профессионалом, розы — это серьезно. На соседнем, пастернаковском, участке в прошлый сезон сажали картошку: во время войны Пастернак картошку сажал.

— А вы не собираетесь? За картошкой не нужно особого ухода.

— Обязательно, и морковь. И клюквенное дерево.

Вы были у дома, где я раньше жил. Он на три семьи. И решил я построить домик рядом для молодых поэтов, как Чуковский когда-то выстроил библиотеку для детей. Тогда у меня водились деньги. Дом я построил, и сказали мне в Литфонде, что я должен написать дарственную. Заявили: «На земле Литфонда ты ничего не можешь строить». — «Это же бандитизм», — сказал я им. «Да, — согласилась, — бандитизм». И я написал дарственную. Я хотел бы, чтобы там могли пожить молчаливые поэты. Две комнатки, внизу гостиная, кухня. Можно и стихи почитать, и отдохнуть.

— Литфонд — суровый хозяин. Вряд ли молодые там попируют...

Андрей Андреевич, в Барнауле вас избрали папой римским нашего авангарда. Это избрание вы давно вышутили:



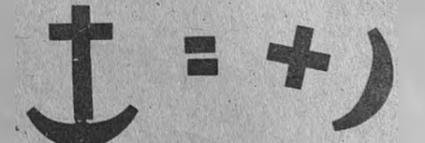
о Гавеле и о Вишневской Гале, о Литве и «Мемориале» — я не хочу попасть в струю.

Сейчас есть политики — и они должны заниматься политикой, экономисты пусть занимаются экономикой. Раньше у нас поэты должны были вникать во все проблемы, потому что именно ты вырвался к народу. И ты волей-неволей за все брался. Теперь нужно улететь поэзией как таковой — ради кристалла, как ради Христа. Я сейчас делаю объемные структуры...

— И еще вы придумали какой-то небывалый жанр — «крестники». Играете с читателем?

— Вот японская игра — рендзю. На оранжевой пластинке дырочки — нолики и черные крестики. Есть даже мировой чемпионат. У нас игра неизвестна. Я считаю: вся структура мира состоит из крестиков и ноликов. Сейчас структура советской страны рухнула. Нужна новая структура. Новый поворот мира. Логически мы сейчас не победим. Чтобы победить голод, разруху, нужен какой-то сюрреалистический ход. Свои «крестники» я делаю якобы в шутку. Я написал целую книгу — со своими иллюстрациями. Вот несколько фрагментов из жизни ноликов и крестиков:

Когда делили Черноморский флот, нолик предложил разделить якорь на крестик и полнолика. Разрубили. Корабль унесло к берегам Турции.



Гознак выпустил никелированные нолики с золотой серединкой. Достоинство по 50 р. Расхватали. Крестик нарезал крутое яйцо ломтиками. Объявил по 50 р. штука. Расхватали. Крестик только развудил руками.

— Люди чаще всего смеются над друзьями. У вас много иронии по отношению к самому себе.

— А как же? Стихи — это дневник. Я думаю, архитектурное образование определило стилистику вашей поэзии. Ваше образное мышление объемно, с кристаллическими отшлифованными гранями метафорических конструкций. А вам не снятся не построенные вами города?

— Увы, сейчас не снятся. Я очень люблю архитектуру. Вот то, что я сейчас делаю, так называемые видеомы — это соединение слова и дизайна-конструкции. Они объемны, делаю их из оумига. Они сейчас на выставке в Нью-Йорке. Это самое серьезное для меня событие года. Я привез около пятидесяти штук. Но в багаже многие повредились. Пришлось за две недели сделать все заново. Работал как сумасшедший. Там, правда, прощай материал под рукой. Любый. На открытие в очень престижной галерее пришло много народу. Я читал стихи — Аллен Гинсберг переводил. Это было в декабре. Сейчас я получил письмо — галерея продлила выставку еще на месяц. Откликов на нее было много, даже в «Бизнес уик» — в журнале деловых кругов Америки. Бизнесмены понимают, что без культуры и экономика погибнет.